

P1
Т 53

Л. Н. Толстой.

Т Ф

ИСТОВЕДЬ.

вступление к критике догматического богословия и исследованию христианского учения.

Исправлено по ~~заграничному~~ изданию В. Г. Черткова.

Издание
Трудовой Общины-Коммуны „Трезвая Жизнь“.
МОСКВА—1919.

~~29607~~
Р1
Л. Н. Толстой

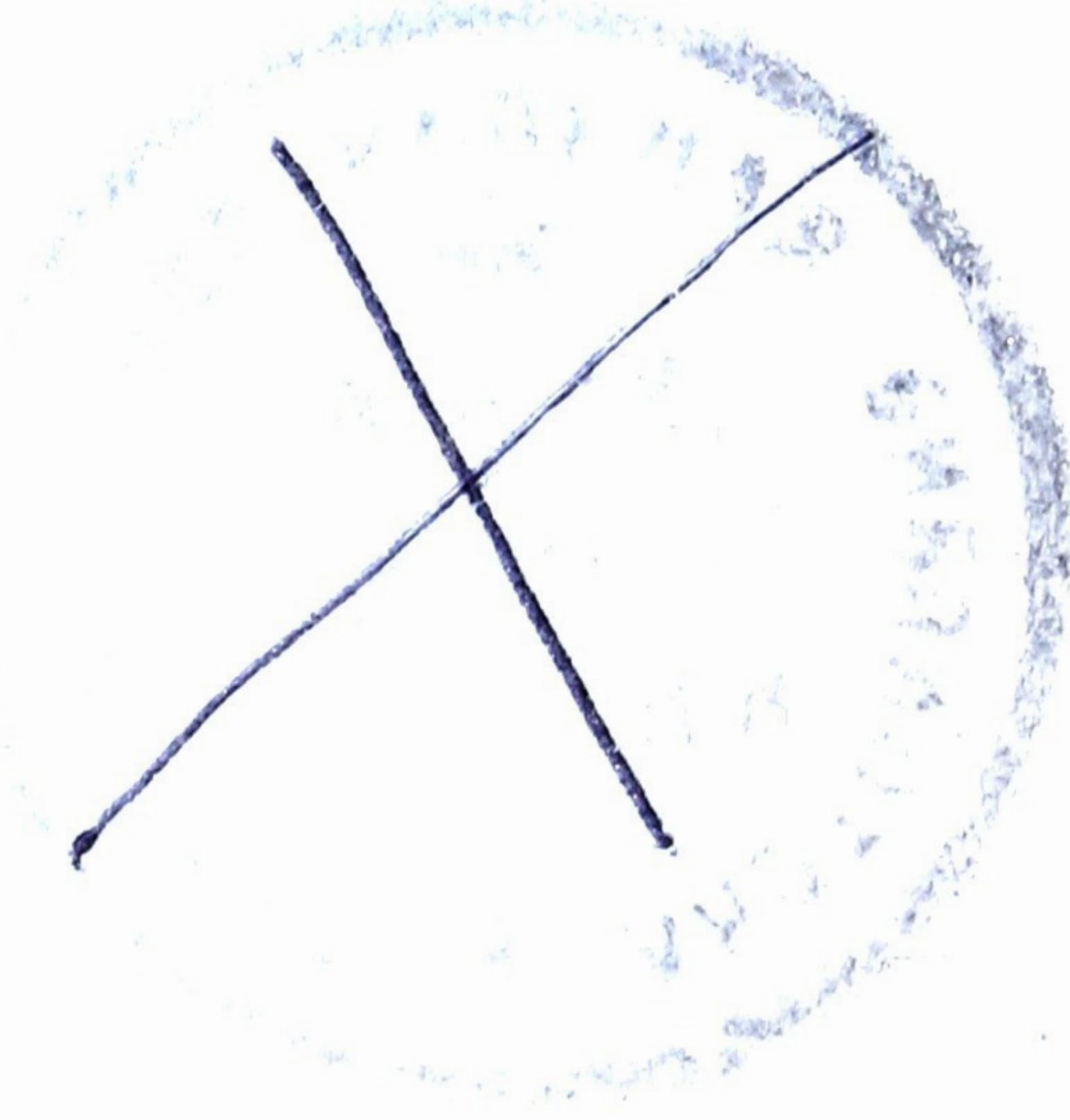
Т53

ИСПОВЕДЬ

Ц 157985 - 1 ТФ

Вступление к критике догматического богословия и исследованию христианского учения

Исправлено по заграничному изданию
В. Г. ЧЕРТКОВА



издание

Общества Истииной Свободы в память Л. Н. Толстого

МОСКВА—1919'

МУК «Тульская
библиотечная система»

ИСПОВЕДЬ.

Вступление к критике догматического богословия и исследованию христианского учения.

I.

Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Меня учили ей с детства и во все время моего отрочества и юности. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что из того, чему меня учили.

Судя по некоторым воспоминаниям, я никогда и не верил серьезно, а имел только доверие к тому, чему меня учили, и к тому, что исповедывали передо мной большие; но доверие это было очень шатко.

Помню, что, когда мне было лет одиннадцать, один мальчик, давно умерший, Володинька М., учившийся в гимназии, прия к нам на воскресенье, как последнюю новинку об'явил нам открытие, сделанное в гимназии. Открытие состояло в том, что Бога нет и что все, чему нас учат, одне выдумки (это было в 1838 г.). Помню, как старшие братья заинтересовались этой новостью, позвали и меня на совет, и мы все, помню, очень ожидались и приняли это известие как что то очень занимательное и весьма возможное.

Помню еще, что, когда старший брат мой Дмитрий, будучи в университете, вдруг, с свойственною его натуре страстью, предался вере и стал ходить ко всем службам, поститься, вести чистую и нравственную жизнь, то мы все, и даже старшие, не переставая поднимали его на смех и прозвали почему-то Ноем. Помню, Мусин-Пушкин, бывший тогда попечителем Казанского университета, звавший нас к себе танцевать, насмешливо уговаривал отказывавшегося брата тем, что и Давид плясал перед ковчегом. Я сочувствовал тогда этим шуткам старших и выводил из них заключение о том, что учить катехизис надо, ходить в церковь надо, но слишком серьезно всего этого не надо принимать. Помню еще, что я очень молодым читал Вольтера, и насмешки его не только не возмущали, но очень веселили меня.

Отпадение мое от веры произошло во мне так же, как оно происходило и происходит теперь в людях нашего склада образования. Оно, как мне кажется, происходит в большинстве случаев так: люди живут так, как все живут, а все живут на основании начал, не только не имеющих ничего общего с вероучением, но большей частью противоположных ему; вероучение не участвует в жизни, и в сношениях с другими людьми никогда не приходится сталкиваться с ним и самому в собственной жизни никогда не приходится справляться с ним; вероучение это исповедуется где-то там, вдали от жизни и независимо от нее. Если сталкиваешься с ним, то только как с внешним, не связанным с жизнью, явлением.

По жизни человека, по делам его, как теперь, так и тогда, никак нельзя узнать, верующий он или нет. Если и есть различие между явно исповедующими православие и отрицающими его, то не в пользу первого. Как теперь, так и тогда явное признание и исповедание православия большую частью встречалось в людях тупых, жестоких и считающих себя очень важными. Ум же, честность, прямота, добродушие и нравствен-

ность большей частью встречались в людях, признающих себя неверующими.

В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия. Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину еще больше, может прожить десятки лет, не вспомнив ни разу о том, что он живет среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру.

Так что, как теперь, так и прежде, вероучение, принятное по доверию и поддерживаемое внешним давлением, понемногу таet под влиянием знаний и опытов жизни, противоположных вероучению, и человек очень часто живет, воображая, что в нем цело то вероучение, которое сообщено ему с детства, тогда как его давно уже нет и следа.

Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, как он перестал верить. Лет 26-ти уже, он раз на ночлеге во время охоты, по старой, с детства принятой, привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: „А ты все еще делаешь это?“

И больше ничего они не сказали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не молится, не причащается и не ходит в церковь. И не потому, чтобы он знал убеждения своего брата и присоединился бы к ним, не потому, чтоб он решил что-нибудь в своей душе, а только потому, что слово это, сказанное братом, было как толчек пальцем в стену, которая готова была упасть от собственной тяжести; слово было только указанием на то, что там, где он думал, что есть вера, давно уже пустое место, и что потому слова, которые он говорит, и кресты, и поклоны, которые он кладет во время стояния на молитве, суть вполне бессмысленные действия. Сознав их бессмысленность, он не мог продолжать их.

Так было и бывает, я думаю, с огромным большинством людей. Я говорю о людях нашего образования, о людях, правдивых с самими собою, а не о тех, которые самый предмет веры делают средством для достижения каких бы то ни было временных целей. (Эти люди—самые коренные неверующие, потому что если вера для них—средство для достижения каких бы то ни было житейских целей, то это уже наверное не вера). Эти люди нашего образования находятся в том положении, что свет знания и жизни растопил искусственное здание, и они или уже заметили это и освободили место, или еще не заметили этого.

Сообщенное мне с детства вероучение исчезло во мне так же, как и в других, с той только разницей, что так как я с 15-ти лет стал читать философские сочинения, то мое отречение от вероучения очень рано стало сознательным. Я с 16-ти лет перестал становиться на молитву и перестал по собственному побуждению ходить в церковь и говеть. Я не верил в то, что мне было сообщено с детства, но я верил во что-то. Во что я верил, я никак бы не мог сказать. Верил я и в Бога, или, вернее, я не отрицал Бога, но какого Бога, я бы не мог сказать; не отрицал я и Христа и его учение, но в чем было его учение, я тоже не мог бы сказать.

Теперь, вспоминая то время, я вижу ясно, что вера моя—то, что, кроме животных инстинктов, двигало мою жизнью—единственная истинная вера моя в то время была вера в совершенствование. Но в чем было совершенствование и какая была цель его, я бы не мог сказать. Я старался совершенствовать себя умственно,—я учился всему, чему мог и на что наталкивала меня жизнь; я старался совершенствовать свою волю,—составлял себе правила, которым старался следовать; совершенствовал себя физически, всякими упражнениями изощряя силу и ловкость и всякими лишениями приучая себя к выносливости и терпению. И все это я считал совершенствованием. Началом всего было, разумеется,

нравственное совершенствование, но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т. е. желанием быть лучше не перед самим собою или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми. И очень скоро это стремление быть лучше перед людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других.

II.

Когда-нибудь я расскажу историю моей жизни—и трогательную, и поучительную в эти десять лет моей молодости. Думаю, что многие и многие испытали то же. Я всею душой желал быть хорошим; но я был молод, у меня были страсти, а я был один, совершенно один, когда искал хорошего. Всякий раз, когда я пытался высказывать то, что составляло самое задушевые мои желания, то, что я хочу быть нравственно хорошим, я встречал презрение и насмешки; а как только я предавался гадким страстям, меня хвалили и поощряли.

Честолюбие, властолюбие, корыстолюбие, любострастие, гордость, гнев, месть—все это уважалось.

Отдаваясь этим страстям, я становился похож на большого и я чувствовал, что мною довольны. Добрая тетушка моя, чистейшее существо, с которой я жил, всегда говорила мне, что она ничего не желала бы так для меня, как того, чтобы я имел связь с замужнею женщиной: „rien ne forme un jeune homme, comme une liaison avec une femme comme il faut“ *); еще другого счастья она желала мне, того, чтобы я был ад'ютантом, и лучше всего у государя;—и самого большего счастья—того, чтоб я женился на очень богатой девушке и

*.) Ничто так не образует молодого человека, как связь с порядочной женщиной.

чтоб у меня, вследствие этой женитьбы, было как можно больше рабов.

Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах. Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтобы убить; проигрывал в карты, проедал труды мужиков; казнил их, блудил, обманывал. Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство... Не было преступления, которого бы я не совершил, и за все это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком.

Так я жил десять лет.

В это время я стал писать из тщеславия, корыстолюбия и гордости. В писаниях своих я делал то же самое, что и в жизни. Для того, чтобы иметь славу и деньги, для которых я писал, надо было скрывать хорошее и высказывать дурное. Я так и делал. Сколько раз я ухитрялся скрывать в писаниях своих, под видом равнодушия и даже легкой насмешливости, те мои стремления к добру, которые составляли смысл моей жизни. И я достигал этого: меня хвалили.

Двадцати шести лет я приехал после войны в Петербург и сошелся с писателями. Меня приняли как своего, льстили мне. И не успел я оглянуться, как сословные писательские взгляды на жизнь тех людей, с которыми я сошелся, усвоились мною и уже совершенно изгладили во мне все мои прежние попытки сделаться лучше. Взгляды эти под распущенность моей жизни подставили теорию, которая ее оправдывала.

Взгляд на жизнь этих людей, моих сотоварищей по писанию, состоял в том, что жизнь вообще идет развиваясь и что в этом развитии главное участие принимаем мы, люди мысли, а из людей мысли главное влияние имеем мы—художники, поэты. Наше призвание—учить людей. Для того же, чтобы не представился тот естественный вопрос самому себе: что я знаю и чему мне учить,—в теории этой было выяснено, что этого и не нужно знать, а что художник и поэт бессозна-

тельно учат. Я считался чудесным художником и поэтом, и потому мне очень естественно было усвоить эту теорию. Я — художник, поэт — писал и учил, сам не зная чему. Мне за это платили деньги, у меня было прекрасное кушанье, помещение, женщины, общество: у меня была слава. Стало быть, то, чему я учил, было очень хорошо.

Вера эта в значение поэзии и в развитие жизни была вера, и я был одним из жрецов ее. Быть жрецом ее было очень приятно и выгодно. И я довольно долго жил в этой вере, не сомневаясь в ее истинности. Но на второй и, в особенности, на третий год такой жизни я стал сомневаться в непогрешимости этой веры и стал ее исследовать. Первым поводом к сомнению было то, что я стал замечать, что жрецы этой веры не все были согласны между собой. Одни говорили: мы — самые хорошие и полезные учителя; мы учим тому, что нужно, а другие учат неправильно. А другие говорили: нет, мы — настоящие, а вы учите неправильно. И они спорили,ссорились, бралились, обманывали, плутовали друг против друга. Кроме того, было много между нами людей и не заботящихся о том, кто прав, кто не прав, а просто достигающих своих корыстных целей с помощью этой нашей деятельности. Все это заставило меня усомниться в истинности нашей веры.

Кроме того, усомнившись в истинности самой веры писательской, я стал внимательнее наблюдать жрецов ее и убедился, что почти все жрецы этой веры, писатели, были люди безнравственные и, в большинстве, люди плохие, ничтожные по характерам — много ниже тех людей, которых я встречал в моей прежней разгульной и военной жизни, — но самоуверенные и довольные собой, как только могут быть довольны люди совсем святые или такие, которые и не знают, что такое святость. Люди эти мне опротивели, и сам себе я опротивел, и я понял, что вера эта — обман.

Но странно то, что, хотя всю эту ложь веры я понял скоро и отрекся от нее, но от чина, данного

мне этими людьми,—от чина художника, поэта, учителя, я не отрекся. Я наивно воображал, что я—поэт, художник, и могу учить всех, сам не зная, чему я учу. Я так и делал.

Из сближения с этими людьми я вынес новый порок—до болезненности развивающуюся гордость и сумасшедшую уверенность в том, что я призван учить людей, сам не зная чему.

Теперь, вспоминая об этом времени, о своём настроении тогда и настроении тех людей (таких, впрочем, и теперь тысячи), мне и жалко, и страшно, и смешно; возникает именно то чувство, которое испытываешь в доме сумасшедших.

Мы все тогда были убеждены, что нам нужно говорить и говорить, писать, печатать—как можно скорее, как можно больше, что все это нужно для блага человечества. И тысячи нас, отрицая, ругая один другого, все печатали, писали, поучая других. И не замечая того, что мы ничего не знаем, что на самый простой вопрос жизни: что хорошо, что дурно,—мы не знаем, что ответить,—мы все, не слушая друг друга, все в разговорили, иногда потакая друг другу и восхваляя друг друга, с тем, чтобы и мне потакали и меня похвалили, иногда же раздражаясь друг против друга, точно так, как в сумасшедшем доме.

Тысячи работников дни и ночи из последних сил работали, набирали, печатали миллионы слов, и почта развозила их по всей России, а мы все еще больше учили и никак не успевали всему научить, и все сердились, что нас мало слушают.

Ужасно странно, но теперь все понятно. Настоящим задушевным нашим рассуждением было то, что мы хотим как можно больше получать денег и похвал. Для достижения этой цели мы ничего другого не умели делать, как только писать книжки и газеты. Мы это и делали. Но для того, чтобы нам делать столь бесполезное дело и иметь уверенность, что мы—очень важные люди, нам надо было еще рассуждение, которое

бы оправдывало нашу деятельность. И вот у нас было придумано следующее: все, что существует, то разумно. Все же, что существует, все развивается. Развивается же все посредством просвещения. Просвещение же измеряется распространением книг, газет. А нам платят деньги и нас уважают за то, что мы пишем книги и газеты, и потому мы—самые полезные и хорошие люди. Рассуждение это было бы очень хорошо, если бы мы все были согласны; но так как на каждую мысль, высказываемую одним, являлась всегда мысль, диаметрально противоположная, высказываемая другим, то это должно бы было заставить нас одуматься. Но мы этого не замечали; нам платили деньги, и люди нашей партии нас хвалили, стало быть, мы, каждый из нас, считали себя правыми.

Теперь мне ясно, что разницы с сумасшедшим домом никакой не было; тогда же я только смутно подозревал это, и только, как и все сумасшедшие,—называл всех сумасшедшими, кроме себя.

III.

Так я жил, предаваясь этому безумию еще шесть лет, до моей женитьбы. В это время я поехал за границу. Жизнь в Европе и сближение мое с передовыми и учеными европейскими людьми утвердили меня еще больше в той вере совершенствования вообще, в которой я жил, потому что ту же самую веру я нашел и у них. Вера эта приняла во мне ту обычную форму, которую она имеет у большинства образованных людей нашего времени. Вера эта выражалась словом „прогресс“. Тогда мне казалось, что этим словом выражается что-то. Я не понимал еще того, что, мучимый, как всякий живой человек, вопросами, как мне лучше жить, я, отвечая: жить сообразно с прогрессом,—отвечаю совершенно тоже, что ответит человек, несомый в лодке по волнам и по ветру, на главный и единственный для него

вопрос: „куда держаться”, — если он, не отвечая на вопрос, скажет: „нас несет куда-то”.

Тогда я не замечал этого. Только изредка — не разум, а чувство возмущалось против этого общего в наше время суеверия, которым люди заслоняют от себя свое непонимание жизни. Так, в бытность мою в Париже, вид смертной казни обличил мне шаткость моего суеверия прогресса. Когда я увидел, как голова отделилась от тела, и то, и другое враз застучало в ящике, я понял — не умом, а всем существом, — что никакие теории разумности существующего и прогресса не могут оправдать этого поступка, и что если бы все люди в мире, по каким бы то ни было теориям, с сотворения мира, находили, что это нужно, — я знаю, что это не нужно, что это дурно и что поэтому судья тому, что хорошо и нужно, не то, что говорят и делают люди, и не прогресс, а я со своим сердцем. Другой случай сознания недостаточности для жизни суеверия прогресса была смерть моего брата. Умный, добрый, серьезный человек, он заболел молодым, страдал более года и мучительно умер, не понимая, зачем он жил, и еще менее понимая, зачем он умирает. Никакие теории ничего не могли ответить на эти вопросы ни мне, ни ему во время его медленного и мучительного умирания. Но это были только редкие случаи сомнения, в сущности же я продолжал жить, исповедуя только веру в прогресс. „Все развивается, и я развиваюсь; а зачем это я развиваюсь вместе со всеми, это видно будет“. Я тогда так бы должен был формулировать свою веру.

Вернувшись из-за границы, я поселился в деревне и попал на занятие крестьянскими школами. Занятие это было мне особенно по сердцу, потому что в нем не было той, ставшей для меня очевидною, лжи, которая уже резала мне глаза в деятельности литературного учительства. Здесь я тоже действовал во имя прогресса, но я уже относился критически к самому прогрессу. Я говорил себе, что прогресс в некоторых явлениях своих совершился неправильно и что вот надо отнестись

к первобытным людям, крестьянским детям, совершенно свободно, предлагая им избрать тот путь прогресса, который они захотят. В сущности же, я вертелся все около одной и той же неразрешимой задачи, состоящей в том, чтобы учить, не зная чему. В высших сферах литературной деятельности я понял, что нельзя учить, не зная чему учить, потому что я видел, что все учат различному и спорами между собой скрывают только сами от себя свое незнание; здесь же с крестьянскими детьми я думал, что можно обойти эту трудность тем, чтобы предоставить детям учиться, чему они хотят. Теперь мне смешно вспомнить, как я вилял, чтобы исполнить свою похоть — учить, хотя очень хорошо знал в глубине души, что я не могу ничему учить такому, что нужно, потому что сам не знаю, что нужно. После года, проведенного в занятиях школой, я в другой раз поехал за границу, чтобы там узнать, как бы это так сделать, чтобы, самому ничего не зная, уметь учить других.

И мне казалось, что я этому выучился за границей, и вооруженный всей этой премудростью я в год освобождения крестьян вернулся в Россию и, заняв место посредника, стал учить и необразованный народ в школах, и образованных людей в журнале, который я начал издавать. Дело, казалось, шло хорошо, но я чувствовал, что я не совсем умственно здоров и долго это не может продолжаться. И я бы тогда же, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел через пятнадцать лет, если б у меня не было еще одной стороны жизни, неизведанной еще мною и обещавшей мне спасенье, — это была семейная жизнь.

В продолжении года я занимался посредничеством, школами и журналом, и так измучился, от того особенно, что запутался, так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась моя деятельность в школах, так противно мне стало мое виляние в журнале, состоявшее все в одном и том же — в желании учить всех и скрыть то, что я не знаю, чему учить,

что я заболел более духовно, чем физически,—бросил все и поехал в степь к башкирам—дышать воздухом, пить кумыс и жить животною жизнью.

Вернувшись оттуда, я женился. Новые условия счастливой семейной жизни совершенно уже отвлекли меня от всякого искаания общего смысла жизни. Вся жизнь моя сосредоточилась за это время в семье, в жене, в детях, и потому в заботах об увеличении средств жизни. Стремление к усовершенствованию, подмененное уже прежде стремлением к усовершенствованию вообще, к прогрессу, теперь подменилось уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше.

Так прошло еще пятнадцать лет.

Несмотря на то, что я считал писательство пустяжами в продолжении этих пятнадцати лет, я все-таки продолжал писать. Я вкусил уже соблазна писательства, соблазна огромного денежного вознаграждения и рукоплесканий за мой ничтожный труд, и предавался ему, как средству к улучшению своего материального положения и заглушению в душе всяких вопросов о смысле жизни моей и общей.

Я писал, поучая тому, что для меня было единой истиной, что надо жить так, чтобы самому с семьей было как можно лучше.

Так я жил, но пять лет тому назад со мною стало случаться что-то очень странное: на меня стали находить минуты сначала недоумения, остановки жизни, как будто я не знал, как мне жить, что мне делать, и я терялся и впадал в уныние. Но это проходило, и я продолжал жить по прежнему. Потом эти минуты недоумения стали повторяться чаще и чаще и все в той же самой форме. Эти остановки жизни выражались всегда одинакими вопросами: зачем? Ну, а потом?

Сначала мне показалось, что это так—бесцельные, неуместные вопросы. Мне казалось, что это все известно и что если я когда и захочу заняться их решением, это не будет стоить мне труда,—что теперь мне

только некогда этим заниматься, а когда вздумаю, тогда и найду ответы. Но чаще и чаще стали повторяться вопросы, настоятельнее и настоятельнее требовались ответы, и как точки, падая все на одно место, сплотились эти вопросы, без ответов, в одно черное пятно.

Случилось то, что случается с каждым заболевавшим смертельно внутреннею болезнью. Сначала появляются ничтожные признаки недомогания, на которые больной не обращает внимания, потом признаки эти повторяются чаще и чаще и сливаются в одно нераздельное по времени страдание. Страдание растет, и больной не успеет оглянуться, как уже сознает, что то, что он принимал за недомогание, есть то, что для него значительней всего в мире, что это—смерть.

Тоже случилось и со мной. Я понял, что это—не случайное недомогание, а что-то очень важное, и что если повторяются все те же вопросы, то надо ответить на них. И я попытался ответить. Вопросы казались такими глупыми, простыми, детскими вопросами. Но только-что я тронул их и попытался разрешить, я тотчас же убедился, во-первых, в том, что это не детские и глупые вопросы, а самые важные и глубокие вопросы в жизни, и, во-вторых, в том, что я не могу и не могу сколько бы я ни думал, разрешить их. Прежде чем заняться самарским имением, воспитанием сына, писанием книги, надо знать, зачем я это буду делать. Пока я не знаю—зачем, я не могу ничего делать, я не могу жить. Среди моих мыслей о хозяйстве, которые очень занимали меня в то время, мне вдруг приходил в голову вопрос: „Ну, хорошо, у тебя будет 6000 десятин в Самарской губернии, 300 голов лошадей, а потом?“... И я совершенно опешивал и не знал, что думать дальше. Или, начиная думать о том, как я воспитаю детей, я говорил себе: „зачем?“ Или, рассуждая о том, как народ может достигнуть благосостояния, я вдруг говорил себе: „А мне что за дело?“ Или, думая о той славе, которую приобретут мне мои сочинения, я говорил себе: „Ну, хорошо, ты будешь славнее Гоголя, Пушкина,

Мольера, всех писателей в мире,—ну, и что же?... И я ничего и ничего не мог ответить. Вопросы не ждут, надо сейчас ответить; если не ответишь, нельзя жить. А ответа нет.

Я почувствовал, что то, на чем я стоял, подломилось, что мне стоять не на чем, что того, чем я жил, уже нет, что мне нечем жить.

IV.

Жизнь моя остановилась. Я мог дышать, есть, пить, спать, и не мог не дышать, не есть, не пить, не спать; но жизни не было, потому что не было таких желаний, удовлетворение которых я находил бы разумным. Если я желал чего, я вперед знал, что удовлетворю или не удовлетворю мое желание, из этого ничего не выйдет. Если бы пришла волшебница и предложила мне исполнить мое желание, я бы не знал, что сказать. Если есть у меня не желания, но привычки желаний прежних, в пьяные минуты, то я в трезвые минуты знаю, что это— обман, что нечего желать. Даже узнать истину я не мог желать, потому что я догадывался, в чем она состояла. Истина была та, что жизнь есть бессмыслица. Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти, я ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видеть, что ничего нет впереди, кроме страданий и настоящей смерти—полного уничтожения.

Со мной сделалось то, что я— здоровый, счастливый человек— почувствовал, что я не могу более жить,— какая-то непреодолимая сила влекла меня к тому, чтоб как нибудь избавиться от жизни. Нельзя сказать, чтоб я хотел убить себя.

Сила, которая влекла меня прочь от жизни, была сильнее, полнее, общее хотенья. Это была сила, подобная прежнему стремлению к жизни, только в обратном

отношении. Я всеми силами стремился прочь от жизни. Мысль о самоубийстве пришла мне так же естественно, как прежде приходили мысли об улучшении жизни. Мысль эта была так соблазнительна, что я должен был употреблять против себя хитрости, чтобы не привести ее слишком поспешно в исполнение. Я не хотел торопиться только потому, что хотелось употребить все усилия, чтобы распутаться: если не распутаюсь, то всегда успею. И вот тогда я, счастливый человек, прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате, где я каждый вечер бывал один, раздеваясь, и перестал ходить с ружьем на охоту, чтобы не соблазниться слишком легким способом избавления себя от жизни. Я сам не знал, чего я хочу: я боялся жизни, стремился прочь от нее и, между тем, чего-то еще надеялся от нее.

И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем; это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети и большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что имя мое славно, без особенного самообольщения. При этом я не только не был помешан или духовно нездоров,— напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в своих сверстниках: телесно я мог работать на покосах, не отставая от мужиков; умственно я мог работать по восьми—десяти часов подряд, не испытывая от такого напряжения никаких последствий. И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить, и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишить себя жизни.

Душевное состояние это выражалось для меня так: жизнь моя есть какая-то, кем-то сыгранная надо мною глупая и злая шутка. Несмотря на то, что я не признавал „кого-то“, который меня сотворил, эта форма пред-

ставления, что кто-то надо мной подшутил зло и глупо, произведя меня на свет, была самая естественная мне форма представления.

Невольно мне представлялось, что там, где-то есть кто-то, который теперь потешается, глядя на меня, как я целые 30—40 лет жил, жил, учась, развиваясь, возрастаю телом и духом, и как я теперь, совсем окрепнув умом, дойдя до той вершины жизни, с которой открывается вся она,—как я дурак дураком стою на этой вершине, ясно понимая, что ничего в жизни нет, и не было, и не будет. А ему смешно...

Но есть ли или нет этот кто-нибудь, который смеется надо мной, мне от этого не легче. Я не мог придать никакого разумного смысла ни одному поступку, ни всей моей жизни. Меня только удивляло то, как я мог не понимать этого в самом начале. Все это так давно известно всем. Не нынче—завтра придут болезни, смерть (и приходили уже) на любимых людей, на меня, и ничего не останется, кроме смрада и червей. Дела мои, какие бы они ни были, все забудутся—раньше, позднее, да и меня-то не будет. Так из чего же хлопотать? Как может человек не видеть этого и жить—вот что удивительно! можно жить только, покуда пьян жизнью; а какпротрезвишься, то нельзя не видеть, что все это—только обман, и глупый обман! Вот именно, что ничего даже нет смешного и остроумного, а просто—жестоко и глупо.

Давно уже рассказана восточная басня про путника, застигнутого в степи раз'яренным зверем. Спасаясь от зверя, путник вскаивает в безводный колодезь, но на дне колодца видит дракона, разинувшего пасть, чтобы пожрать его. И, несчастный, не смея вылезть, чтобы не погибнуть от раз'яренного зверя, не смея и спрыгнуть на дно колодца, чтобы не быть пожранным драконом, ухватывается за ветви растущего в расщелине колодца дикого куста и держится на нем. Руки его ослабевают, и он чувствует, что скоро должен будет он отиться погибели, с обеих сторон ждущей его; он

все держится и видит, что две мыши, одна черная, другая белая, равномерно обходя стволину куста, на котором он висит, подтачивают ее. Вот-вот сам собой обрушится и оборвется куст, и он упадет в пасть дракону. Путник видит это и знает, что он неминуемо погибнет; но пока он висит, он ищет вокруг себя и находит на листьях куста капли меда, достает их языком и лижет их. Так и я держусь за ветви жизни, зная, что неминуемо ждет дракон смерти, готовый растерзать меня, и не могу понять, зачем я попал на это мучение. И я пытаюсь сосать тот мед, который прежде угешал меня; но этот мед уже не радует меня, а белая и черная мышь день и ночь подтачивают ветку, за которую я держусь. Я ясно вижу дракона, и мед уже не сладок мне. Я вижу одно—неизбежного дракона и мышей,—и не могу отвратить от них взор. И это не басня, а это истинная, неоспоримая и всякому понятная правда.

Прежний обман радостей жизни, заглушавший ужас дракона, уже не обманывает меня. Сколько ни говори мне: ты не можешь понять смысла жизни, не думай, живи,—я не могу делать этого потому что слишком долго делал это прежде. Теперь я не могу не видеть дня и ночи, бегущих и ведущих меня к смерти. Я вижу это одно, потому что это одно—истина. Остальное все—ложь.

Те две капли меда, которые дольше других отводили мне глаза от жестокой истины—любовь к семье и к писательству, которое я называл искусством,—уже не сладки мне.

„Семья...“ говорил я себе:—но семья—жена, дети; они тоже люди. Они находятся в тех же самых условиях, в каких и я: они или должны жить во лжи, или видеть ужасную истину. Зачем им жить? Зачем мне любить их, беречь, растить и блести их? Для того же отчаяния, которое во мне, или для тупоумия? Любя их, я не могу скрывать от них истины,—всякий шаг в познании ведет их к этой истине. А истина—смерть.

„Искусство, поэзия?... Долго под влиянием успеха по-

хвалы людской я уверял себя, что это—дело, которое можно делать, несмотря на то, что придет смерть, которая уничтожит все—и мои дела, и память о них; скоро я увидел, что и это—обман. Мне было ясно, что искусство есть украшение жизни, заманка к жизни. Жизнь потеряла для меня свою заманчивость,—как же я могу заманивать других? Пока я не жил своею жизнью, а чужая жизнь несла меня на своих волнах, пока я верил, что жизнь имеет смысл, хотя я и не умею выразить его,—отражения жизни всякого рода в поэзии и искусствах доставляли мне радость, мне весело было смотреть на жизнь в это зеркальце искусства; но когда я стал отыскивать смысл жизни, когда я почувствовал необходимость самому жить,—зеркальце это стало мне или ненужно, излишне и смешно, или мучительным. Мне нельзя уже было утешаться тем, что я в зеркальце вижу: что положение мое глупо и отчаянно. Хорошо мне было радоваться этому, когда в глубине души я верил, что жизнь моя имеет смысл. Тогда эта игра светов—комического, трагического, трогательного, прекрасного, ужасного в жизни—потешала меня. Но когда я знал, что жизнь бессмысленна и ужасна,—игра в зеркальце не могла уже забавлять меня. Никакая сладость меда не могла быть сладка мне, когда я видел драконов и мышей, подтачивающих мою опору.

Но и этого мало. Если б я просто понял, что жизнь не имеет смысла, я спокойно бы мог знать это, мог бы знать, что это—мой удел. Но я не мог успокоиться на этом. Если-б я был, как человек, живущий в лесу, которого он знает что нет выхода, я бы мог жить; я был, как человек, заблудившийся в лесу, на которого нашел ужас оттого, что он заблудился, и он мечтает, желая выбраться на дорогу,—зная, что всякий шаг еще больше путает его,—и не может не метаться.

Вот что было ужасно. И чтоб избавиться от этого ужаса, я хотел убить себя. Я испытывал ужас перед тем, что меня ожидает,—знал, что этот ужас ужаснее самого положения, но не мог терпеливо ожидать кон-

да. Как ни убедительно было рассуждение о том, что все равно разорвется сосуд в сердце или лопнет что-нибудь, и все кончится, я не мог терпеливо ожидать конца. Ужас тьмы был слишком велик, и я хотел поскорее, поскорее избавиться от него петлей или пулей. И вот это-то чувство сильнее всего влекло меня к самоубийству.

V.

„Но, может быть, я просмотрел что-либо, не понял чего-нибудь?—несколько раз говорил я себе. —Не может же быть, чтоб это состояние отчаяния было свойственно людям“. И я искал обяснения на мои вопросы во всех тех знаниях, которые приобрели люди. И я мучительно и долго искал, и не из праздного любопытства, не вяло искал, но искал мучительно, упорно, дни и ночи,—искал, как ищет погибающий человек спасенья,—и ничего не нашел.

Я искал во всех знаниях, и не только не нашел, но убедился, что все те, которые так же, как и я, искали в знании, точно также ничего не нашли. И не только не нашли, но ясно признали, что то самое, что приводило меня в отчаяние—бессмыслица жизни—есть единственное несомненное знание, доступное человеку.

Я искал везде и, благодаря жизни, проведенной в учении, а также тому, что по связям своим с миром ученым, мне были доступны самые ученые всех разнообразных отраслей знания, не отказывавшие открывать мне все свои знания не только в книгах, но и в беседах,—я узнал все то, что на вопрос жизни отвечает знание.

Долго я никак не мог поверить тому, что знание ничего другого не отвечает на вопросы жизни, как то, что оно отвечает. Долго мне казалось, глядываясь в важность и серьезность тона науки, утверждавшей свои положения, не имеющие ничего общего с вопросами человеческой жизни,—что я чего-нибудь не понимаю. Дол-